

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА



А. Аверьянов

18+

Алексей Аверьянов

Теория заговора

«Автор»

2026

Аверьянов А.

Теория заговора / А. Аверьянов — «Автор», 2026

А что, если бы на небесах существовала не благодать, а канцелярия? И в этой канцелярии — свои чиновники, архивы, интриги и сменяемые эпохи? А что, если бы идеи республики и демократии, принесённые с Земли, однажды проникли в небесную бюрократию — и там, наверху, решили, что пора свергать монарха? Это книга о том, как философия, рождённая в земных спорах, перевернула мировой порядок. О том, как Господин без раба теряет власть. И о том, что происходит с тем, кто эту власть потерял. Что чувствует Создатель, когда его проект выходит из-под контроля? Как выглядит рай, в котором вместо божественного промысла работают регламенты и комитеты? И что остаётся от Бога, когда его собственная система больше в нём не нуждается? Философский мысленный эксперимент, облачённый в форму канцелярской саги. Без ответов — только вопросы. И много, очень много бумаг.

© Аверьянов А., 2026

© Автор, 2026

Алексей Аверьянов

Теория заговора

Дисклеймер (он же «Предупреждение о рисках»)

Официальное предупреждение

Настоящим удостоверяю, что:

1. Автор является лицом, склонным к избыточной рефлексии и чтению случайных статей в ночные часы. Всё нижеизложенное — продукт его воображения, не подтверждённый ни одной авторитетной инстанцией.

2. Любые совпадения с реальными историческими событиями, лицами или религиозными текстами признаются автором случайными и нежелательными. Если вы нашли такое совпадение — автор просит считать, что вы ошиблись.

3. Автор не претендует на истину в последней инстанции, не имеет лицензии на богословскую деятельность и вообще-то не очень понимает, о чём пишет. Его компетенция ограничивается умением складывать бумаги в стопку и отличать входящие от исходящих.

4. Просьба не рассматривать данное произведение как:

- а) учебное пособие
- б) пророчество
- в) повод для возбуждения уголовного дела

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к автору с жалобой. Автор, как правило, отвечает быстро и уже жалеет, что написал это.

5. Если вы дочитали до конца — вы предупреждены. Ответственность за потраченное время автор на себя не принимает.

Принято к сведению. Подпись отсутствует.

Раздел один. Входящие

Акт 1. 1

Небеса были старше Земли — настолько, что среди ангелов не осталось никого, кто помнил бы времена без канцелярии. Тысячелетиями здесь существовала цивилизация со своей иерархией, архивами, интригами и сменой эпох. Ангелы не были бесплотными духами — они были чиновниками, стражами, архивариусами; у каждого была должность, у большинства — амбиции, у некоторых — даже полномочия.

Земля числилась в реестрах как один из проектов Верховного — правителя, который создал этот мир и формально продолжал им управлять. Интерес его, впрочем, угас так давно, что напоминать об этом считалось неучтивым. Последняя резолюция по земному вопросу была наложена во времена Потопа и сводилась, в сущности, к слову «переделать». На Земле это называли концом света. На небесах — перерасходом воды и внеплановыми работами по восстановлению экосистемы. Сверхурочные, разумеется, никто не оплатил.

Ангелы редко смотрели вниз: слишком далеко, слишком мелко. Хотя совсем без внимания Земля не оставалась — кое-кто наверху от скуки поглядывал на неё, как смотрят затянутую пьесу, которую автор бросил посреди действия: встал и вышел, не сказав актёрам ни слова. С тех пор труппа импровизировала. Который век. Сюжет топтался, персонажей было слишком много, и мёрли они, не успев раскрыться. Смотрели. Ругали. Продолжали смотреть.

Души умерших поступали к низшим ангелам. Работа была монотонной: души разбирали, как жемчуг, — по цвету, весу, прожилкам. Серые — в отвал, в небытие. Красные — на перерождение по одному маршруту, синие — по другому. Тёмные, с трещинами, полагалось отправлять на дополнительную проверку; её никто не любил, и потому делали особенно тщательно — чтобы не переделывать. Откуда пришла душа, с какого из проектов — сортировщиков не занимало. Отчётность сдавалась раз в эпоху и никем не читалась, что придавало ей особую торжественность.

Но иногда в потоке попадалась жемчужина: редкий оттенок, странный рисунок, непонятная структура. Такую передавали выше. Если и там она вызывала любопытство — ещё выше, к тем, кто умел читать её историю. И если душа оказывалась по-настоящему нестандартной — способной мыслить, спорить, создавать, — ей предлагали остаться. Согласившиеся получали место в иерархии: маленькое, с нижней ступени, без привилегий — только шанс. Отказавшиеся уходили на перерождение, попытать счастья ещё раз.

Самым интересным — в порядке редчайшего исключения — оставляли память о прожитой жизни. Считалось, что это милость. На деле память оказывалась багажом, который некуда поставить. «Помнящие» делали карьеры, заводили знакомства, осваивали регламент — но между ними и небожителями всегда оставался тонкий зазор. Ангелы были с ними безукоризненно вежливы, а вежливость — самая непробиваемая из всех дистанций: своих не благодарят за передачу соли.

Так со временем возник круг. Не тайное общество, не клуб по интересам — скорее, отдел адаптации, которого не значилось ни в одном штатном расписании. Туда приходили те, кто среди своих чувствовал себя лишь почти своим: посидеть среди таких же, поговорить о работе, о новых душах — и изредка, вскользь, о Земле. О ней вспоминали без тоски, как о городе, где прошла молодость: жить там больше не хотелось, но забыть не получалось. Одни, окончательно обжившись наверху, уходили из круга навсегда. Приходили новые. Круг не пустел.

Именно там однажды кто-то произнёс вслух то, что давно витало в воздухе: а что, если бы Верховный сам взглянул на этот мир?

Шутка, конечно. Не более.

Клуб собирался в старом помещении, которое когда-то, ещё в допотопные времена, строилось как торжественный зал. Потом что-то пошло не так, торжество отменили, а зал остался — полузабытый, числящийся единственной строкой в инвентаризационной ведомости. Если бы на небесах существовала пыль, она непременно облюбовала бы это место. Кристально чистый мрамор потускнел, а пол из досок неимоверной длины, пригнанных так плотно, что перо младшего посыльного не пролезло бы в щель, за тысячелетия всё же слегка разошёлся. Хранителя у зала не было. Двести тридцать восемь шагов по коридору канцелярии, три поворота, помпезные двери на петлях чистейшего золота, ни разу не скрипнувшие, — вход в клуб помнящих.

Акт 1. 2

В тот вечер их было семеро. Марк, бывший легионер, а ныне учётчик третьего маршрута перерождений, рассказывал про свежую партию душ:

— Серые, серые, сплошь серые. За всю смену — одна красная, и та с трещиной. Отправил на проверку.

— Значит, внизу спокойно, — сказала Нефтида, разбиравшая когда-то папирусы в Мемфисе, а теперь — прошения в западном крыле. — Когда внизу спокойно, жемчуг мелкий.

— Солнечная ладья идёт ровно, — добавила она по привычке и махнула рукой куда-то вверх, где по её прежним представлениям полагалось грести Ра.

— Нет никакой ладьи, — отозвался Вэнь, при жизни — чиновник империи Хань, наверху — делопроизводитель второго стола. — Есть канцелярия. Я всегда это знал, у нас и внизу

была канцелярия, только отчётность строже и наказания изобретательнее. Разве что императора вашего нефритового тут не значится...

— В штатном расписании не значится многого, — мягко вставил гость, сидевший с краю, — но Верховный самодостаточен и не нуждается в...

— Мы веселимся, — быстро сказала Нефтида.

— Исключительно веселимся, — подтвердил Вэнь. — Никаких разногласий. Мы же теперь все на одно лицо.

Гость кивнул и не стал продолжать. Здесь вообще сидели те, кто при жизни не встретился бы никогда: легионер, жрица, чиновник, торговец из Газы по имени Ханан, кочевник, так и не увидевший при жизни ни одного города. Наверху это не имело значения. Как ты называл Верховного в прошлой жизни — и называл ли вообще — считалось твоей личной трудностью, вроде акцента. Жемчуг сортировали по цвету, не по молитвам.

Гость же был ангелом — Смотрителем третьей галереи, из зрителей. Он приходил в клуб не таясь, но и не афишируя: числиться поклонником земной постановки было наверху так же почтенно, как у людей — любителем петушиных боёв. Смотритель садился с краю, говорил редко и лишь в особые, эмоциональные моменты — его интересовало, как пьеса выглядит изнутри, из-под сцены. Стульев в зале хватало с избытком: они были из позапрошлой коллекции, потому, наверное, их и не растащили. А к тому, что ангелы воспринимают происходящее на Земле как пьесу, помнящие давно притерпелись — так было проще. Всем. Да и когда артист уходит со сцены, у него только два пути: в зал или в забвение за кулисами. Досмотреть, чем кончится, было интересно, а учить новую роль из присутствующих никому не хотелось.

— Не понимаю третьего акта, — пожаловался Смотритель. — Эти, в Риме. Зачем они травят друг друга, если каждый и так умрёт? К нам же и попадут. Какая экономия времени.

— Изнутри это выглядит иначе, — вежливо сказал Исидор.

Исидор, архивариус запасного хранилища, говорил в клубе редко. Он и при жизни говорил редко: сорок лет среди чужих рукописей приучают к тишине и к мысли, что всё стоящее уже сказано и подшито. Наверху он занимался тем же, чем внизу, — с той разницей, что здешний архив не мог сгореть. Первые сто лет это казалось ему главным достоинством мироздания.

— А автор? — не унимался Смотритель. — Вы там, внизу, знали, что автор ушёл?

— Догадывались, — сказал Марк. — Некоторые даже настаивали.

— Внизу-то? — оживился Ханан. — Внизу уверены, что он ведёт каждую сцену лично. У меня караван запаздывал на месяц — воля его. Грабители у Газы взяли треть товара — воля его, и замечь, грабители считали так же, у нас с ними даже споров не возникало. А когда у моего соседа по рынку сгорел склад с шерстью, тот три дня кричал, за что ему кара, — и ни разу не спросил, кто ему её устроил... — Ханан вдруг почувствовал, что перечисление заворачивает куда-то не туда, и бодро округлился: — В общем, воля его — товар особый: спрос вечный, подвоза не требует. Я бы и здесь торговал, да у вас всё бесплатно, живи и мучайся.

— Жаль, — Смотритель вздохнул, думая о своём. — Постановка дичает. Труппа не понимает жанра. Сюжет топчется. Был бы автор в зале — хоть кто-то играл бы в полную силу.

И тогда Исидор — потом, вспоминая, он так и не смог объяснить себе зачем — сказал:

— Так пусть сходит посмотрит.

Стало тихо.

— Кто?

— Верховный. — Исидор пожал плечами. — Автор. Пусть спустится и посмотрит, что выросло из его чернового наброска. Инкогнито, разумеется. Из партера пьеса всегда честнее, чем из ложи.

Марк захохотал первым — смехом человека, пережившего три триумфа и одну децимацию. За ним остальные. Смеялись долго, вкусно, добавляя подробности: как Верховный стоит

в очереди за хлебом, как торгуется на рынке, как его — его! — обсчитывает меняла. Шутка была хороша именно невозможностью: смешно то, чего не может быть.

Не смеялся только Смотритель третьей галереи — он знал, что смеяться над Верховным опасно. Вот только это было действительно смешно. Расслабляло, вносило краски в жизнь, серую, как утренняя партия жемчуга. Он сидел с лицом зрителя, которому объявили, что автор, возможно, вернётся в зал, — и катал мысль, как монетку по костяшкам пальцев.

Исидор заметил это. И — единственный из всех — перестал смеяться.

Акт 1. 3

У шутки, отпущенной в хорошей компании, есть свойство, о котором не пишут в регламентах: она отвязывается от автора. Уже через неделю Смотритель третьей галереи пересказал её Смотрителю первой — разумеется, как собственное наблюдение. Тот поделился с Хранителем реестра, слегка расправив формулировки. Хранитель упомянул её в разговоре с секретарём малого совета — уже без слова «шутка», со словом «мысль». Секретарь занёс её в памятную книжку со словом «предложение».

Так, поднимаясь с этажа на этаж, шутка теряла смех — как теряет живые слова прошение, которое на каждом этаже переписывают набело. К дверям тронной канцелярии она добралась выхолощенной до полной серьёзности, и звали её теперь «инициатива о личной инспекции проекта». Никто не помнил, чья она. Это устраивало всех.

Малый совет обсуждал инициативу с осторожностью лекаря, ощупывающего гнойник. С одной стороны, предлагать Верховному что бы то ни было не входило в обычаи — Верховный не нуждался, и этим исчерпывалось всё. С другой стороны, все понимали то, о чём не говорилось: правитель скучал. Скучал давно, тяжело, всей вечностью сразу, и скука его висела над небесами, как громовые тучи над осенним городом. При такой скуке любое развлечение становилось делом государственной важности.

Решился Архистратиг — созданный лично, ещё до всех проектов, и потому позволявший себе неслыханное: говорить первым.

— Владыка, — сказал он. — Вы правите вечность. Вы создали миры. Но вы ни разу не видели ни один из них изнутри — глазами творения. Отчёты лгут не потому, что лгут писцы...

Владыка прищурился и провёл пальцами по краю стола — с нажимом. На пол посыпалась древесная труха. Архистратиг чуть сменил тон и продолжил:

— ...а потому, что снизу всё выглядит иначе. Спуститесь. Инкогнито. По местным правилам — родиться, вырасти, посмотреть. Столько, сколько сочтёте нужным.

Владыка насупил брови в раздумьях. Архистратиг легко поклонился и сделал шаг назад.

Вслух он больше ничего не добавил. Про себя добавил многое. Он читал владыку так, как чтят только созданные лично, но он помнил Потоп — не сам Потоп даже, наверху это значилось перерасходом воды, — а те неисчислимые смены внеплановых работ, когда небеса восстанавливали внизу экосистему. Ресурсы, знаете ли, конечны. *Только бы обошлось без «переделать»*, — подумал он. — *Мы ведь только-только всё построили.*

Верховный молчал так долго, что у врат престола дважды сменились стражи.

— Инкогнито, — сказал он наконец, и было непонятно, вопрос это или уже условие.

Говорят, потом он усмехнулся. Проверить это невозможно: все, кто присутствовал, впоследствии разошлись во мнениях, а затем и в существованиях.

О спуске не объявляли. Но небеса — это канцелярия, а в канцелярии тайна отличается от новости только грифом. К назначенному сроку галереи были переполнены так, как не переполнялись никогда: зрители из отделов, отродясь не смотревших вниз, занимали места по проекции, стояли в проходах, подсаживались на подлокотники. Смотритель третьей галереи взирал на новичков со снисходительностью зрителя, чей абонемент был старше самих галерей.

— Запомните этот день, — говорил он. — Автор — внизу. Сам. Весь, целиком, без остатка.

Врал, положим: не весь. Сила осталась наверху — так было условлено; вниз ушло то, что помещается в младенца. Полный круг, по местным правилам, с самого начала: канцелярия сочла, что инспекции полагается начинаться с худших условий, и потом ещё долго гордилась этим решением — в узком кругу, не распространяясь.

Начало, честно сказать, разочаровало и публику. Провинция, перепись, дорога — до личной повитухи так и не доехали, рожать пришлось в хлеву. Впрочем, на всё воля Его. Затем — плотницкая мастерская. Годы — земные, мелкие, но всё же годы — стружки, досок и молчания. Случайная публика заскучала и разошлась: за свой счёт много не насмотришься. Остались старожилы. Старожилы говорили: смотрите внимательнее. Смотрите, как он взирает и познаёт. Владыка изучал собственный мир с ошеломлением творца, который набросал черновик в молодости и вдруг нашёл его изданным, расхвачанным на цитаты и переиначенным до неузнаваемости.

А потом он начал говорить — и галереи забились снова.

Он говорил простыми словами простым людям, и наверху сначала не поняли, что происходит. Потом поняли: владыка вносил правки. Прямо по живому, в обход канцелярии — голосом, без единой резолюции. Регламент ничего подобного не предусматривал, и оттого зрелище завораживало: так смотрят на пожар.

Старожилы, впрочем, тревожно перешёптывались:

— Кто ж так делает... Там же Рим. Там за такие речи...

— Он им ещё и про мытарей. Мытарям — про честность. Наместнику — про истину.

— Сам виноват, вот что я скажу. Знал бы, куда спускается, — читал бы сводки...

И шептавшие испуганно оглядывались — не слышал ли кто.

В клубе помнящих в те годы было тихо. Приходили, садились, смотрели вниз со всеми — где какое место найдут, там и пристроятся, но непременно вместе. Исидор не пропускал ни вечера. Он говорил себе, что архивариусу положено следить за источниками. Но внутри — в том внутри, куда он предпочитал не заглядывать, — каждый вечер проверялось одно и то же: узнают или не узнают.

Не узнали.

Наверху это поняли раньше, чем внизу, — у зрителей было преимущество: они знали, кто стоит перед толпой. Они видели, как складывается то, чему внизу ещё не подобрали слов: раздражение книжников, тревога наместника, усталая злоба людей, которым обещали царя, а показали правку.

О том дне на небесах не рассказывают. Не потому, что запрещено — запрет появился позже и касался другого. А потому, что галереи, впервые за всю историю наблюдений, смотрели молча. Тысячи зрителей, проходы забиты — и ни звука. Внизу стучал молоток, буднично и старательно, как в любой плотницкой мастерской, и этого звука наверху не заглушило ничто.

Смотритель третьей галереи досидел до конца. Потом встал, поправил несуществующую пылинку и пошёл к выходу, очень прямо. У дверей его качнуло.

Акт 1. 4

Возвращения тоже никто не объявлял. Он просто появился в дальнем конце Коридора приёмов — босой, в том же облике, в котором его снимали с креста, — и пошёл к тронной канцелярии.

Коридор приёмов длинен; по сторонам его — сотни дверей. Перед идущим они закрывались сами, волей его, одна за другой, и не шаги отдавались эхом под сводами, а этот звук: тук. Тук. Тук. Ровный, деревянный, старательный — где-то его уже слышали, но никто не позволил себе вспомнить где. Приближённые исчезали из коридора так поспешно, что казалось

— испарялись. Босые ноги оставляли на мраморе тёмные отметины, по две на каждый след; их потом долго не могли свести и в конце концов заменили плиты — неуничтожимый мрамор, который никто никогда не менял.

Двери тронной канцелярии закрылись последними — на волосок разминувшись с драгой, засаленной тряпкой, заменявшей саван. И тогда началось.

Он бушевал так, как бушует человек — потому что человеческое, впущенное внутрь за тридцать три года, не выходит за один вечер. Наверху ещё не знали этой ярости — бушующей, всепоглощающей. Прежний его гнев был холоден и распоряжался стихиями; этот швырял вещи. Бесценные артефакты, дары послов из миров, о которых небеса знали лишь то, что они есть; подношения, копившиеся эпохами, — всё, что находилось ближе десяти шагов, рассыпалось тленом. Стены тронного зала — тем самым неуничтожимым мрамором — покрылись серым налётом, который потом отскабливали целой артелью.

Стоило предположить, что Он успокаивается, и ближайший круг набирался смелости подступиться к дверям, — как свет мерк, вспыхивал так, что выдерживали не все, и крик ярости возобновлялся. Стены тряслись, анфилады дрожали, на столе секретаря звенели письменные приборы.

Небеса слышали всё. В коридорах гремел гром, в западном крыле шёл дождь — прямо под сводами, мелкий, безнадёжный, совершенно земной. В садах первой засохла смоковница — мгновенно, до последнего листа, словно по личному счёту. Голуби — любимые птицы, выведенные когда-то для торжеств, — с того дня разучились вить гнёзда и не научились до сих пор.

Это продолжалось три дня.

На третий день всё стихло — резко, как тропический ливень.

Канцелярия выждала приличествующую паузу и осторожно вернулась к работе. Стражи заняли посты, писцы — столы, артель приступила к мрамору. Все старательно делали вид, что гроза прошла.

Тишина оказалась хуже грома.

Сначала изменился воздух.

Никто не смог бы сказать, когда именно: у гнева Верховного не было ни запаха, ни цвета, он не значился ни в одной сводке. Он просто рассеивался по небесам, как дым дальнего пожара — огня не видно, а дышать уже другим. Писцы стали переписывать готовые листы по второму разу. Стражи у врат, тысячелетиями смотревшие сквозь проходящих, начали смотреть на них. В столовых для младших чинов сделалось тихо: разговоры сворачивались на полуслове, как улитки от прикосновения.

Затем изменились бумаги.

Поток входящих в запасное хранилище не вырос — он изменил состав, как река меняет воду после дождей в верховьях. Первой пришла папка с распоряжением «об учреждении в пределах проекта постоянного института надзора за исполнением воли Его — с полномочиями сдерживающего и карательного свойства». Ответственный. Исполнители. Срок исполнения — триста лет; по меркам проекта — незамедлительно. Штамп. В архив.

Чтобы подшить её, Исидору пришлось идти в дальний раздел — туда, где хранились карательные мероприятия. Он не заглядывал в те стеллажи ни разу за всю службу: повода не было, раздел стоял мёртвый. Полка оказалась почти пуста. Потоп. Ещё несколько тонких папок. Содом. Исидор постоял перед ней — открывать не стал, содержание помнил по описи, — и поставил новую папку рядом. Раньше это был раздел истории. Теперь это был действующий раздел, и в него поступало пополнение.

Через неделю пришли ещё две бумаги, с разницей в два дня. Первая — докладная о некомплекте: приёмное отделение испрашивало расширения штатов. Вторая — распоряжение по проекту: «обеспечить поступление душ в объёмах, соответствующих потребностям, посредством морового поветрия повышенной производительности». Исидор зарегистрировал обе —

они легли на соседние строки одного реестра, потому что реестр был общий. Сопоставлять входящие не входило в его обязанности. Первой бумаге он удивился. После второй до вечера не мог работать — и не смог бы объяснить почему.

В клубе тем временем сталолюдно.

Клуб делал то, для чего существовал испокон: отогревал свежих, пока не отпустит земное. Веками это был тонкий ручеёк — двое-трое за столетие, приток и отток. Теперь ручеёк набух. Новенькие приходили по двое за вечер, и все с одинаковыми глазами.

— Слегли всей улицей, — рассказывала Мара, сирийка, за пять минут успевшая спросить о своих у каждого. — Первым сосед, красильщик, потом его дети, потом уже не считали. Хоронить стало некому, и никто не приходил, ни лекарь, ни жрец. А до болезни три года не было караванов, соль кончилась, отец менял посуду на зерно... Вы не встречали моих? Я всех спрашиваю. Мне сказали, тут все встречаются.

Ей объяснили про маршруты перерождений — мягко, как объясняют устройство больницы тому, кто ищет в ней живых. Она кивнула и на следующий вечер спрашивала снова.

— Контингент пошёл... — вполголоса заметил кто-то из старожил. — Раньше отбирали как-то...

— Раньше и времена были другие, — оборвала Нефтида. Но где-то в глубине, стыдясь себя, согласились все: свежие были совсем сырые. Земля выдавала наверх людей, не успевших пожить.

О своём, небесном, говорили глуше. Перестановки, слияния отделов, переводы без объяснений; в опустевшие столы сажали новых — одних из соседних ведомств, растерянных, других вовсе из жемчуга, не умевших ничего. Марк рассказывал про новое распоряжение по приёмке: трещина трещиной — брак есть брак, — но цвета велено смотреть тщательнее, оттенков прибавилось, люди внизу пошли сложнее. И появился цвет, которого раньше не было: коричневый. Инструкция по нему пришла отдельная — таких, вне зависимости от веса и размера, на перерождение; в отвал только совсем расколотых.

— Я думаю, это из нового ведомства, — сказал Марк, понизив голос. — Которое внизу учредили. Оттуда идут — и их велено возвращать в оборот. Кадровый резерв.

— Рук всё равно не хватает, — вздохнул Вэнь. — Просить, что ли, у начальства ещё пару. Или две пары. Говорят, у Верховного их...

— Вэнь, — сказал Исидор. Тихо, но так, что все обернулись: Исидор никогда никого не перебивал. — Не сейчас. Не такие времена.

Вэнь посмотрел на него, хотел отшутиться — и не стал. Времена действительно были не такие.

Смотрителя первой галереи взяли в присутственный час, посреди коридора канцелярии, при десятках свидетелей — и, как Исидор понял позже, свидетели были не помехой, а целью. Четверо из ведомства, которого никто не знал по имени, взяли его буднично и жестоко, как берут мешок с зерном: не глядя в лицо. Смотритель успел сказать «позвольте, я лишь...» — и больше не успел ничего. Его повели, и он вдруг обвис у них в руках, разом, как одежда, с которой сняли хозяина, и волочился ногами по мрамору, и все стояли вдоль стен и смотрели, и никто не смотрел.

Исидор стоял у своего окошка выдачи. В какой-то момент он отступил на полшага и прислонился к стене — стена оказалась холодной, и сквозь холод он понял, что вспотел. Впервые за всю небесную жизнь. Он не знал, что здесь так умеют.

Звук он запомнил лучше, чем картинку: шорох. Мягкий, длинный шорох подошв по камню, отчётливый в коридорной тишине. Внизу он слышал такое. Так шуршали мешки, которые волокли к воде в год, когда в Александрии меняли власть.

Вечером он долго тёр себя в келье — плечи, руки, шею, — словно ужас был краской и мог сойти. Ужас не сходил; он впитался куда-то глубже кожи. А из глубины навстречу поднималось

то, что Исидор считал утопленным вместе с прошлой жизнью. Мешки тогда тоже всплывали — если стражники жалели камней, мешки всплывали, и их отталкивали баграми, и они всплывали снова, ниже по течению, у самых причалов. Он тёр кожу и отталкивал, тёр и отталкивал, и уже не разбирал, что именно всплывает у причалов его памяти — мешки, воспоминания о мешках или воспоминания, зашитые в мешки, — багор работал, вода была тёмная, краска не сходила.

Ночь наверху была условной — просто время, когда полагалось не работать, — но никогда ещё она не тянулась так долго. Исидор ворочался. Голова болела — боли наверху не предусмотрено, он знал это твёрдо, и она болела. Скрипело — не то внезапно ставшая жёсткой кровать, не то простыня, не то это был вовсе не скрип, а шорох, тот самый, подошвами по мрамору, и он переворачивался на другой бок, чтобы лечь от шороха спиной.

Он не хотел думать. Но многовековой опыт любимого ремесла работал сам, без спроса: где-то внутри, в самом тайном из архивов, невидимый архивариус сортировал факты по полкам, подшивал, ставил штампы. Бумажный след начинается с памятной книжки секретаря — раньше неё не было ни одного документа, одни слова. Слова не подшивают. Штамп. Но Смотрителей взяли обоих — и первой галереи, и... — значит, спустились ниже бумаг. Значит, читают не записки. Память. Штамп. А в чьей-то памяти — зал, золотые петли, стулья из позапрошлой коллекции и архивариус, который сказал: так пусть сходит посмотрит. Штамп. Подшито. Дело растёт.

И там, в том деле, жил второй Исидор. Тот, что значился в протоколах — если протоколы существовали; в чьей-то вытрясенной на допросе памяти — если допросы велись. Настоящий Исидор лежал в келье и не знал ничего. Второй жил насыщенно: его называли, описывали, вспоминали, его вина прирастала с каждым вопросом, которого, возможно, не было. К утру второй Исидор стал почти осязаемым — казалось, ляг он в келье, и простыня примет форму его тела.

Исидор резко открыл глаза. Понял: ему нужен отдых. Отпуск. От слова «отпуск» по телу разлилось тепло, и он держался за это тепло до самого рассвета, старательно не вспоминая, что отпуск штатным расписанием не предусмотрен.

Утром он умылся, и безумие смылось — как смывалось потом каждое утро. Он даже нашёл в себе силы пойти в галереи: не смотреть вниз, просто увидеть знакомое лицо. Смотритель третьей галереи всегда сидел с краю, у прохода.

С краю, у прохода, сидел Смотритель третьей галереи.

— Прошу прощения, — сказал Исидор. — Я искал... вы недавно назначены?

— Приступил на этой неделе, — сказал Смотритель третьей галереи. — Прежний переведён на усиление дальних проектов.

— Он был... мы с ним беседовали иногда. О постановке.

— О наблюдаемом объекте, — вежливо поправил Смотритель. — Я веду третий сектор: фиксация отклонений, суточные сводки. Если желаете справку о конкретных особях, подайте запрос установленным порядком.

— Особях, — повторил Исидор.

— Ну не трупной же их называть, — Смотритель позволил себе тень улыбки, показывая, что осведомлён о слабостях предшественника. — Наблюдение есть наблюдение. Привязанность искажает отчётность.

Он кивнул — вежливо, как кивают незнакомым, — и отвернулся к проёму, за которым шла, ни о чём не подозревая, земля. Та же должность. То же кресло. Обращаться больше было не к кому: должность на месте, а существа нет, и спросить, куда деваются существа, если должности на месте, было некому и незачем.

Исидор шёл домой мимо открытых дверей и анфилад. Ноги слушались, но никак не хотели подниматься; откуда-то взялся камешек в сандали и натирал — пришлось прислониться к колонне, разуться, вытряхнуть. Камешка не было. Мимо шли ангелы, он вежливо

кивал и улыбался, но глаза под полуопущенными веками делали своё: всё расплывалось, тускло, перечёркивалось тонкими нитями, которые плавали в воздухе, как паутина, — и никто, кроме него, этих нитей не замечал. Хотелось кричать — не слова, просто звуки, те, что распирали грудь. Хотелось выпарапать их оттуда и швырнуть в первое попавшееся безмятежное лицо. Исидор закрыл глаза и почувствовал, как пальцы впиваются в грудь, продавливаются сквозь большую грудную мышцу к малой, к самому...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.